

Изящная словесность

Никита Левитский

Мир снизу

О Т Р Ы В К И

Этот так называемый Город — сплошные развалины, что только притворяются цельными, архитектурными ансамблями, каменным садом, отвернешься — гадкие ухмылки трещин. В них теряется взгляд, блуждает и простужается, так что потом пятна в глазах и двоится, и все будто на стекло подышали, кто-то из руин нагло дышит нам на глаза и не боится, что его схватят за нос. Ресторан, в котором я работал у Озера, закрылся, а мне даже не сказали загодя, просто однажды утром написали, что приезжать не надо, деньги у них кончились. Тогда я пошел устраиваться в бар и записался на два собеседования, но в одном баре начальник-африканец явно в измененном состоянии сказал, что ему нужна киска за баром, а в другом — где начальник заторможенный Ванюша, не замечающий, что за стойкой уже пить нечего: краны сломались от жары, не охлаждают пиво, водку и бутылочное, пришлось его упрашивать заказать — я простажировался всю ночь за бутылку пива из бара и еще одну — крепленого, недопитую посетителем, и на следующий день, вместо приглашения на работу, в телеграм-канале бара написали, что они закрываются. Руины. Руины-обманщицы. Бродячие скалы. Каменные пятна в глазах.

Но дома еще остался кофе и вино со вчера. Что еще остается? Всякая публичность порочна, профанна (в плохом смысле этого слова, не агамбеновском), когда она *перечеркивает* это уединенное, одинокое усилие, твое одинокое, когда никого нет вообще рядом; нет никаких сподвижников, никаких коллег, никаких единомышленников... потому что очень многое — и это не опыт четырех лет, а может, весь мой опыт с тех пор, как я, так сказать, покинул отчий дом, — показывает, что идеи могут быть замечательны, инициативы могут быть замечательны, теории могут быть замечательны, а люди — говнецо. Тогда, в конце концов, какая разница, откуда я выслан и где мне быть запрещено, если я все равно всегда смотрю в это самое лицо, которое я не люблю? Зато в одну-единственную ночь, после дня без какой-либо пищи и без единого слова кому-нибудь сказанного я наблюдал весь лунный цикл от начала и до конца и глотал вино легко, как песок! Лунный свет, которого с каждой небес-

ной минутой становилось все больше, наполнял мой желудок непревзойденным неистовым сахаром, и мне хотелось выпустить изо рта сияющий рой жесткокрылых. Моря, пятна, кратеры отпечатывались на моем лице картой спящих дней, пока рождалось из черной кожи лунное яблоко. Прогулка по Городу — это предельный черный опыт подкожного соприкосновения с собственной тьмой, решиться на это, вообще говоря, далеко не каждый способен! Вот пример: куда этот черный туннель ведет? Есть ли там, вообще говоря, такие предметы, как... Другой? солидарность? встреча? Я не уверен. Но пройти его, Саша, мне все же придется, ведь я иду домой. Беды царя Давида!

Руины зоркие. Они умеют видеть. Они видят нас насквозь и вытаскивают на свет те наши слабости, которые мы хотели бы скрыть больше всего. Удивительно даже не то, что отчего-то мало кто замечает, что Город превращен в руину, а то, что мало кто замечает среди руин своих друзей и близких, вообще людей. Макс исчез на месяц или около того: как раз когда я нашел ему музыкальную подработку на Озере — «как хорошо, — подумал я тогда, — бы Макс смотрелся здесь с джазовым ансамблем на фоне Солнца, уходящего в горы, и Луны, бегущей вверх по Озеру», — он вдруг перестал выходить на связь. Я справлялся по его поводу у Кости и тот отвечал, мол, да, Макс жив и бродит иногда по его дому, ему стало лучше, он все еще, по выражению Кости, *skonфуженный*, но — восстанавливается, хотя, добавил Костя, я бы допустил, что снова декомпенсируется. Однако Макс будто бы не *декомпенсировался*, а обзавелся в конце концов новым телефоном или каким-то другим образом вышел в сеть и написал мне, что он нашелся, что работает в овощной лавке грузчиком, а в казино, где он работал прежде, его не пустили, потому что не прошел алкотест. Я подумал, что, может, и я бы смог поработать грузчиком и спросил его про оплату, однако Макс рассказал, что они оплачивают его сотовую связь, дают ему овощей и фруктов, сигарет да иногда наливают. Примерно год назад у жителей Города слово *приезжий* перестало в любом из случаев обозначать *богатый*, или *тот, кого можно нагреть*, и с тех пор медленно меняло оттенок смысла, так медленно и неощутимо, что сами заинтересованные лица ничего не замечали, пока слово приезжий окончательно не слилось с принятым в языке местных словом *бледный, отчаявшийся, пахнущий луком*, как приезжих и стали теперь называть, но — что не улавливают сами приезжие — которое также имеет самое простое значение: *раб*. И когда теперь я вижу людей, топчущихся среди руин, у которых еще вчера были утро-глянцевые фантазии о собственном будущем, они кажутся мне не побежденными, а уже просто-напросто слепыми, и мне становится страшно, ведь и я то и дело замечаю ржавые пятнышки на собственном зрачке, и я подчас вижу в зеркале, как на меня пристально смотрят, закрыв глаза, и в ужасе я кидаюсь к глазам своей дочери, ведь не может ослепнуть, потерявшись в руинах, четырнадцатидневный человек, ведь не может? я смотрю в ее синие глаза, раскосые, как и у меня, двумя лодочками с круглыми ледяными гондольерами, и, когда она так трогательно и жутко косит их друг к другу, я замечаю, что любовь — это электрические оковы, которые удерживают нас от самой простой и ясной мысли: не продолжать! не плодить эти бройлерные руины! Ее глаза всегда наполнены чем-то: такие внимательные, цепкие, иногда они вдруг становятся печальными, не то чтобы серьезными, нет, настоящая, умудренная печаль не может быть серьезной, это просто прямой и будто бы все осознающий взгляд, с которым она родилась, однако она слишком любопытна, как и положено

четырнадцатидневному человеку, и он то и дело тонет в новых впечатлениях, образами глядения падающими на зрачки, ее глаза всегда заняты, в них нет пустоты. В моих же полно пустоты: я прихожу домой среди ночи с пустотой в глазах, я впускаю в них все и слишком много, и я приношу это с собой, как сквозняк, и со мной всегда приходит этот загадочный человек, вовсе не человек, эта тень — так что я проскальзываю тенью мимо своей дочери и ее матери, спящих, но тень отсоединяется от меня и садится на диван, и смотрит на нас всех, зачем? я не знаю. Нюкта не замечает этого или не осознает, она теряет мои следы, обитая в черно-белом лабиринте, и большая часть ее жизни сейчас заменена рефлексам: сосание, хватание, она даже не может взять в толк, что, чтобы хорошо сосать палец, нужно отогнуть его от ладони, и просто надеется на удачу, а иначе — кричит, тоже рефлекторно, эмоции только зреют в ее маленькой быстрой груди, а вот Даша все видит, все замечает, все — чувствует, чувствует меня, промерзлую пустоту, дышащую моими глазами, мою тень, как она отделилась от меня и уселась подле нас, и зачем-то смотрит, силится что-то понять, что-то заметить. За полчаса моего неровного сна запах моих дряхлеющих, налитых вином кишок распространяется по всей комнате; Нюкта начинает волноваться и ворочаться, и Даша, заметив, конечно, и это, будит меня и просит уйти, чтобы не мешать малышке спать.

И вот передо мной этот черный туннель, Саша, в который мне надо войти, в который, положив руку на сердце, меня влечет, в котором, как ты и сказал, все разрушается, привычное и искомое — все уносится в черный космос негативности, а то, как там понимается хотя бы сам факт нашего обладания телом, — это довольно-таки серьезный вызов вообще всем современным теориям, в том числе гендерным! «Гуляй! Гуляй!», — говорю я себе. По руинам принято гулять. Гуляй, как глоток крови. Душа дороги не разбирает. И, как говорят: душа гуляет — заносит тело! А Город упрямо смотрит в мои следы, и под носом у него щель, которая всегда должна оставаться влажной.

✱

Мир очевидно пытается нащупать и выскрести меня из своего дырявого зуба, в ход идет все, что под рукой, там, где я, — кариес, черный, разъедающий, красная припухлость нарывающего воспаления придушивает меня каждым новым объявлением на столбе: пропал человек, от двадцати до тридцати лет: ее уже нашли в луже вытекшей крови, теперь этот: рыжий, лопоухий, улыбается, слышал он в рабстве, — тошнит — тошнотворный запах сквознячком из кишков наружу, где с той или иной *оживленностью*, и не то чтобы по своей воле, перемещаются остатки других пережеванных субъектов, то есть это слово здесь, так сказать, на реликтовых правах и им по гамбургскому счету сейчас, в их видимой кондиции, совершенно не подходит, это раньше, возможно, пока еще мама гладила их по головке, а фантазия оживляла глину и вообще любую грязь, смешанную с водой, так что у них был какой-то призрачный шанс если не на Адама, то хотя бы на голема, теперь их окончательно пережевало, до последней проглоченной ими куриной косточки, вот же они, полюбуйтесь сами: как живые, ходят и все такое прочее, то есть все, что из этого следует и приличествует, на месте, но, выражаясь популярным нынче квазинаучным языком: целиком и полностью объективированные, а у меня самого шея уже хряснула:

я и звук услышал довольно отчетливо, и побежал в комнату к Даше, которая тебя кормила, спросить, один ли я слышу этот чудовищный, невыносимый, отдающий в ногтях звук, или она тоже, но она ничего не слышала, и я сам ощутил, как побледнел в этот момент. Я выхожу на улицу, чтобы встретить Наташу в аэропорту, она наконец прилетит, человеку нужно, чтобы кто-то брал его лицо руками, хотя бы в качестве подарка на новый год, но вместо того, чтобы оборваться, пуповина сновидения раскрывается незнакомым сосудистым зонтиком похмельного бреда над каждым пуантом реальности, и все эти точки, если приглядеться, — пусты; лучше не приглядываться, а если все-таки пригляделся — все рассыпается вместе с тобой, сознание рассыпается, а с ним — мир, притом что мир в этом самороспуске как раз *просыпается* и показывает свое отсутствующее лицо, прежде спрятанное за простыней привычки здоровья. Быть при смерти приятно, только пока продолжаешь вливать в себя яд. Даша говорит, что это мой политический жест, эта пустота, она не просто проскальзывает из-за вещей, шаркая по половине лица или кончику кожи руки холодной чешуей, она еще что-то говорит, высказывается так же, как забытые напоминает, а красота подъедает то, что упало (или было брошено) с этого косяного стола. Почему я готов все продать за это высказывание? Никакое унижение не смущает меня, когда я думаю о нем, клацая клыкастым клювом мимо мальчик в маске древнейшей птицы пробегает, а глаза не двигаются, они — нарисованы, как у бабочки на крыльях, только клюв — жив. Как я оказался посреди Города — места, где классы расслаиваются от дождя?! Нет ничего прекрасней зимы в Городе, зима в Городе ужасна: зеленый теперь кажется серым, звуки, даже автомобильные гудки, — бесцветными, меня спрашивали: какой именно город я подразумеваю под Городом, да вот только я сам, как и было сказано, ума не приложу, как здесь оказался, и самое главное — не хочу знать где: местные мне не нравятся, их традиции вызывают ужас, меня даже искренне изумляет, что они умеют писать и читать и, соответственно, рано или поздно могут прочесть то, что я пишу о них, но этого я не боюсь: они не убьют меня, ибо очень добры, а мои слова так холодны, что примерзли друг к другу, и одно не отделить от другого. Однако сейчас они пугают меня, пугают все больше и больше: все в черном, притворяющиеся преступниками, — *зачем?* — я знаю, что они ничтожества, но все равно содрогаюсь, Солнце приплющивает сознание, а здания, из которых выстроен этот без шуток прекрасный город, в котором — а я только недавно смог оценить в полной мере гений главного его архитектора! — проспекты устроены так, что закатное Солнце ложится ровно-нехонько между домов, будто проспект завершается в глубине Космоса, увенчанный пылающим шаром, главным источником тепла и красоты, кажутся мне теперь настоящими (то есть наоборот — *ненастоящими*) декорациями, они плоские, как картонные вырезки, а люди, люди тоже плоские, но все же не настолько плоские, в них есть какая-то пугающая трехмерность, как у игл, так что я отпрыгиваю от них, идущих в мою сторону, как удушение, а в действительности же трехмерность сохраняю теперь только я один, внутри себя, трехмерность воздушного шара, карликового дирижабля, чья огненная тяга вот-вот подожжет всю конструкцию, и я рухну на гладкую плоскую поверхность тошнотворно-зеркального мира.

В какой момент я осознаю, что иду не в ту сторону, что мне можно было сесть на автобус еще три квартала назад, так или иначе, сейчас я здесь, на своей каменистой окраине, в стрижестане под пустым небом, а до прилета Наташи

осталось полчаса, очевидно, я не успеваю, хотя, может быть, из-за этого смога самолет какое-то время повисит в воздухе, из-за этого смога каждый день Даша начинает с того, что изучает приложение, сканирующее чистоту воздуха в Городе: сегодня индекс загрязнения двести тридцать, концентрация РМ2.5 в тридцать один раз выше среднегодового значения нормы, в приложении это выглядит как карта, покрытая фиолетовыми пятнами — солнечными лентиго с красными и грязно-оранжевыми прожилками, а в окне как серо-малиновое небо и город, утонувший в омерзительной взвеси мельчайших кусочков саж, асфальта, расплавленных автомобильных покрышек, сульфатов, нитратов и целой палитры оксидов, тяжелых металлов, полициклические углеводороды красиво переливаются, словно разлитое в воздухе машинное масло, и весь этот абстрактный экспрессионизм беспрепятственно проскальзывает через дыхательные пути, бронхи и попадает прямиком в альвеолы и в кровь, легочные рецепторы возбуждаются, дыхание учащается, сердце сбивается в беспорядочных ритмах, почти мгновенно клетки легочного эпителия высыхают и крошатся, как осенние листья, кровь сворачивается и закупоривает сосуды, пока их стенки набухают и взрываются, и все это происходит в теле трехмесячного ребенка, вызывая радикально раннюю деменцию, конечно же кариес, эректильную дисфункцию, ультрабыстрое старение, нечувствительность к боли, невозможность спать из-за ощущения нитей под серебристо-синей кожей и синдром пророка, по крайней мере, так это видит твоя мама, именно поэтому ты не покидала дом уже почти месяц, с тех самых пор, как ударили холода, нищие зажгли свои мусорные костры и поднялся Смог, врывающийся удушливой волной в раскрывшиеся двери автобуса вместе со мной, и я в своем изодранном макинтоше цвета каменной пыли и дырявых спортивных штанах выгляжу его амбассадором, по крайней мере, у нас есть что-то общее.

В автобусе мне не слишком становится лучше. И это только так кажется, что все во мне отказывается от участия в мире, так бы *могло показаться* — и с должной убедительностью! — на первый взгляд, ведь я чувствую нечто, что можно назвать *смертельным*, по крайней мере, оно таким кажется изнутри, нечто, что ускоряет мое движение на пути к последней инстанции, это точно, возбуждающее мое мортидо до полного бессилия, такое расстройство всех чувств, казалось бы, должно изолировать меня от так называемой действительности, однако на самом деле все с точностью наоборот: все во мне смешивается с материальным миром до неразличимости, до невозможности даже сомнения в односоставности с ним, вся чувствительность моего тела и, особенно, того, что я привык называть сознанием и в самостоятельном присутствии чего сомнение только растет экспоненциально до полного самоотрицания, оборачивается на ускоренно расширяющийся из каждой своей точки мир, растягивающий меня тонким слоем по себе, как масло по хлебу нищего, масло, слой которого становится таким тонким, исчезающе тонким, что в основном его заменяет воображение, мрачное и ничему не доверяющее воображение, я становлюсь бедным творчеством обстоятельств, и смесь, которой я принадлежу, которую я чувствую, со всей очевидностью, как я теперь ясно вижу, не должна была бы ни иметь, ни быть ощутимой, она была тайной настройкой и то, что я в нее залез, — тошнотворно, особенно это чувство движения атомов в моем теле, чувство роения электронов; что ни говори, но не должен человек своей селезенкой, своей лимфой чувствовать, с какой (в основном исчезающе невысокой) вероятностью в этот самый миг *его собственный* электрон не

здесь, а там; и все это радикальное мирозатворение должно было бы по идее, по инструкции, примирить меня с реальностью, более того — приспособить меня к существованию в ней в качестве более или менее калорийного ингредиента этого вечнопервичного бульона, но, как выяснилось, эта смесь растворяется сама в себе, если в ней нет того, кто радикально отделен от нее своей волей, и все же в этом еще одном самороспуске содержалась определенная красота, даже звучала музыка, словно огромное здание, казавшееся со стороны таким брутальным и почти не имевшее окон, оказывалось собранным из фарфоровых чашечек, которые теперь лопались с восхитительным звуком, скорее шелестом или даже щебетом, и складывались в нечто непредставимое, такое, как вывернутые наизнанку нервные волокна электрического тела. Так я доехал обратно до своей остановки, то есть дотуда же, откуда начал путь, затем переехал через мост и на повороте вышел, чтобы пересечь на девяносто седьмой, который идет прямо до аэропорта, только вот до Наташиного прилета оставалось пятнадцать минут, а автобус, во-первых, должен был по расчетам карты затратить на путь отсюда пятьдесят семь минут, а во-вторых, уехал только что, буквально у меня из-под носа, и хоть я не видел его заднего стекла своими глазами, но в режиме реального времени наблюдал меланхолично маленькую и безразличную, как зрачок улитки, синюю точку, медленно, но неуклонно ползущую по синей же линии, условно обозначавшей грязную дорогу передо мной, которая с каждой секундой, точнее говоря, с каждой следующей мыслью, становилась все длиннее, все непреодолимее, а моя *встреча* с Наташей, по полюбившемуся мне нынче словечку, — все *радикальней*, и кроме того, кроме всех топографических проблем, свалившихся на мою зашедшуюся в фуге паники голову, в этот момент, пока я судорожно перебирал варианты, как бы добраться *быстро*, а лучше *мгновенно*, до аэропорта, голову мою бомбардировали, во-первых, повторяющаяся мысль о том, откуда берется *следующая мысль*, а во-вторых, почему-то размышления о режиссере Аронофски, чей новый фильм я не видел, но чьи старые ленты оказали на меня огромное влияние, точнее, даже не то чтобы *оказали влияние*, не это важно, а то, что позволили не чувствовать в самые чувствительные моменты взросления себя одиноким и совершенно покинутым Богом: и зеркала, которыми полны его фильмы, отражения, которые он прививает человеческим телам, а может, только одному телу, которое только и может существовать в *реальности*, в *жажде вместить в себя* Черного и Белого лебедей *разом*, разрушаясь, облекая кожей, как говорят: *освежаясь*, оскальпываясь (— *какие прекрасные! удивительные слова!* —) (*тебе стригут ногти, а ты ожидаешь, нет, предчувствуешь — ампутацию!*), и старый лебедь вслушивается в темный импульс и приносит в жертву свои ноги синтетическому лебедю (— *а у кого есть руки, у того нет крыльев!* —) (*поэт больше не верит, что может пройти сквозь зеркало*); но тем непонятнее становится мир, когда Хореограф требует трансцендентности, которая *мало у кого есть* (— *а должна бы быть!*), танцовщица *не может поглядеть в зеркало*, она вся в своем теле, обретает слепоту, чтобы жить в стремлении к совершенству; после слепоты рождается отражение, чтобы показать совершенство (*какое странное, вытянутое слово*), мои ботинки — рвань, левый набился снегом, и боль от снега, от кусочков льда под ступней все усиливается, пока не становится пыткой — мне в ногу вгоняют гвоздь. Отвлекаясь от мыслей, я оглядываюсь вокруг и замечаю, что снег ведет себя странно: он *шевелится*, белое перетекает маленькими ручейками,

квадратами и зигзагами, закручивается во фрактал, я приглядываюсь к снегу прямо под своими ногами, и налипшему на ботинки, и наконец замечаю, что он полон червей, *бледных*, белых: я много слышал о *снежных червях*, но никогда еще не видел их воочию (нет, видел, в юности, в Сибири, ночью, после скольких-то бутылок портвейна), это критически ужасно, когда они лезут в дырку в ботинке, и я даже чувствую, как они копошатся под штаниной по щиколотке, их присутствие (и теперь я вспомнил отчетливо, как это было тогда, когда мне было девятнадцать) вызывает еще один приступ тошноты, словно ты забыл что-то важное и не вспомнишь потому, что у тебя для этого воспоминания не хватает какого-то органа, части мозга, неожиданно погибшей от случайного заряда, предназначавшегося не тебе, конечно, ты его не заслужил. Я определенно рассчитывал на чудо. Так действуюешь, когда ничего другого не остается. Так что определенно рассчитывая на чудо, я ворвался в какую-то дверь, за которой не было никаких сибирских червей и было тепло, зато там была женщина, лет сорока или пятидесяти, в своем состоянии я не мог точно определить ее возраст, но у нее были роскошные рыжие волосы, это я сразу заметил, и она там была совершенно одна, я имею в виду, она была в окружении мужчин, *местных*, которые совершенно не заслуживали ее, никаких женщин в помещении не было, и, судя по всему, это был очень дешевый бар, или даже закусовая, куда, однако, ходили выпить, а о том, что мужчина за лавкой был ее мужем, я узнал слишком поздно, когда неожиданно сам для себя поцеловал ее сухие, смазанные акульим жиром, воском и спермацетом тонкие ярко-морковные губы, напоминавшие хвост кометы, глаза ее были большими и уставшими, мешки под ними их оттягивали, как дурное прошлое, с которым они вынуждены были куда-то там катиться через весь мир (явно она была не отсюда, в отличие от ее несчастного мужа), раскладывая случайным, чуть более, чем другие симпатичным пьяным мужчинам, карты: «*у тебя есть брат*, — сказала она уверенно, а я не был так уверен, когда вроде как утвердительно покачал головой, — *ты никогда о нем не говорил*, — заявила она так, будто мы знакомы больше, чем десять минут, за которые я выпил те две стопки, которыми она меня угостила, и я снова покачал головой, — *вы очень похожи, не так ли?*» — это уже была ложь, — «он остался там, а я — здесь», — вот что я ответил, — «*может, это правда*, — странно покачала она головой, будто можно было подумать, что *на самом деле* это он здесь, а я остался там, с червями в Сибири, — *и вы любите друг друга больше, чем хотелось бы*», — я вздрогнул и вспомнил, как брат впервые изнасиловал меня: кто бы мог сказать, в чем *именно* я провинился в тот раз, скорее всего, я рассказал что-то скверное о нем нашим родителям, а может, он опять нашел и прочел мой дневник, который я вел до того самого случая и перестал его вести только *после* того самого случая: «*ты встрял*», — я прекрасно помню, как он прошептал мне эти слова, когда родители были совсем рядом, но не могли их услышать, хотя я и не мог оценить предстоящий ущерб, впрочем, разве это был ущерб, в какой-то момент он неожиданно вскрикнул: «*я — Башня!*» — и все кончилось: у него была голова рыбы, это я точно помню, еще пару раз он варил рыбу так: наловив ее в озере, он просто бросал ее в кипящую воду, и рыба пыталась выпрыгнуть обратно, впрочем, это было похоже на то, как рыба вообще пытается, тщетно, выпрыгнуть из воды, он так же мучил и убивал кошек, а потом старая кошка вынашивала новых мертвых кошек, пока не сбежала, кому какое дело, я только опять утвердительно покачал головой,

а вот она качала головой отрицательно, распахнув губы, словно в гримасе ужаса, хоть и несколько наигранной: *«твоему брату угрожает опасность!»* — «опасность?» — я хмыкнул, — «что еще за опасность?» — *«опасность найти себя»*. *«Как его зовут?»* — я наклоняюсь к ней и шепчу: *«ты знаешь, как его зовут, старая сука»*. Дальше этого не зашло: ее муж вызвался отправить меня на такси: он уже знал *всю историю*, так что я, сочтя это за своего рода мрачное рождественское чудо (лишь слегка сатанинское), согласился.

По Наташиным глазам я смог самостоятельно сосчитать, как долго она ждет меня в аэропорту, на маленьком неудобном металлическом стуле, на котором она выглядела особенно смешно, — длинная, как ободранный стебель, торчащий из мусорки: она поднимает на меня огромные на худой морде глаза дворняги, даже хуже, и тут же, узнав меня, улыбается, встает, не торопясь, и берет мое лицо в руки, словно великанша, возвышаясь надо мной: ее губы совсем другие, они отличаются от всего. Когда брат встречал меня после долгой разлуки, он крепко обнимал меня правой рукой, а левой бил в печень, удар за ударом, пока я не согнусь, а я *не должен был* сгибаться; с тех пор я ежедневно тренирую свою печень. Людей, насколько я понимаю, он тоже *мучил до смерти*, или что-то в этом духе, впрочем, он всегда защищал меня от них.

Таксист, как водится здесь, счел знание нашего языка за приглашение к долгому интимному разговору, со всякими каверзными вопросами типа: что вам нравится в Городе (я попытался сформулировать, как я отношусь к прекрасной его архитектуре, монументальной и авангардной, тонкой и грубой одновременно, когда он перебил мое молчание словами: *«люди — хорошие, это понятно!»*, что было наглой ложью, потому что местных людей я как раз ненавидел больше всего в этот самый момент), но Наташа тут же осекла его: «через полчаса нас здесь не будет», — казалось, она только начала, вперив холодные свои мутные глаза ворожей в его зеркало заднего вида, — «и ни вы нас, ни мы вас больше никогда не увидим. Зачем начинать эти проклятые беседы? Я по горло сыта солнечным светом». — «Но надо же наслаждаться жизнью!..» — начал было он оправдываться, очень нелепо на наш вкус, — «вы, русские, совершенно не умеете наслаждаться жизнью!» — «во-первых, мы не русские», — она отрезала, — «украинцы?» — «коммунисты!» — она отрезала еще раз, так что голова покатилась и он заткнулся, только неожиданно пробурчал минут через пятнадцать ни к селу ни к городу: *«с наступающим»*, — и в этот момент я осознал, что на улице темно и через пару часов начнется другой год, кому какое дело, хотя то, что Наташа заткнула его, — это настоящее чудо. Я почувствовал, как мир вынул свои вонючие пальцы изо рта и плюнул на мое наличие между его зубов, отвлекся на что-то за окном, так что и я теперь мог отвлекаться, например на Наташину ладонь, сухую, ломкую, как листик из далекой-далекой жизни, дрожащий на пыльном ветру молодости, и почувствовал этот особенный запах, который ни с чем не спутаешь и которого, в общем-то, не существует.